

**Н.Е. Сулименко**

*Санкт-Петербургский государственный университет*

### **Фольклорные элементы в лексическом структурировании текста**

Пусковым моментом в создании новых интерпретаций определенных слоев культурного опыта, в сюжетно-композиционном движении текста, в определении его жанра могут служить прецедентные тексты русских пословиц. В частности, они определяют лексическую структуру, композицию и жанр произведения В. Пьецуха «Сравнительный комментарий к пословицам русского народа» [Пьецух, 2002].

Самый набор этих пословиц отражает раздумья автора над истоками русской ментальности и связан с построением прогнозов относительно судеб российского этноса. Каждая из пословиц определяет содержание и лексическую структуру выделенных автором фрагментов, выступая в функции заглавия отдельных разделов. Рассмотрим более подробно отмеченные зависимости.

#### *«Гусь свинье не товарищ»*

Пословица в силу ключевого для ее смысла и последующего текста слова «товарищ» обращает автора к металингвистическим и культурологическим наблюдениям, к истокам формирования коммунистического новояза: «Хотя это слово (господин – Н. С.) равно потеряло свое первобытное значение, и *господами* в России величали даже городских, новые власти повелели народу в общих случаях употреблять обращение «*товарищ*», в зловещих случаях – «*гражданин*». С «товарищем» вышло недоразумение: во-первых, это понятие узко корпоративное и коммерческое, обозначающее купца, который торгует тем же товаром, что и ты, скажем, дворянской водкой по пяти гривен за полуштоф; во-вторых, в женском роде «*товарищу*» соответствует «*товарка*», поэтому «*товарищ Сидорова*» – это такая же лингвистическая нелепость, как кормилица Иванов» (здесь и далее текст «Сравнительных комментариев» цитируется по изданию [Пьецух, 2002]; курсив в цитатах наш – Н.С.). Обращение к фольклорному тексту позволило не только выстроить текстовую парадигму обращений, связанных с разными культурными кодами, слоями культурной памяти, но и в связи с этим восстановить былые мотивационные отношения слов, использовать архаичную лексику (гривна, полуштоф, товарка и т. д.), отражающую хронологическую перспективу слова, на примере каламбура показать «лингвистическую нелепость» новообразования. Далее автор указывает на сложившийся дефицит средств общения, поскольку слово «товарищ» прижилось лишь в «официальных бумагах», а не в «живом человеческом общении» и заменилось в нем номинациями по половому признаку: «Вы, *женщина*, тут не стояли», «Скажите, *мужчина*, который час?». Автор рассматривает эти лакуны в речевом этикете как месть природы за непонимание простых вещей: «нет, никогда не было и не будет равенства между людьми, потому что оно противоестественно, как два одинаковых

отпечатка большого пальца, потому что если бы все писатели писали на манер Алексея Кассирова, у нас была бы не великая литература, а кабаре». Так, отталкиваясь от ключевого слова поговорки, автор создает собственную социологическую концепцию с привлечением неожиданных сравнений и метафорических ассоциаций. Идея равенства воспринимается им как рецидив «совкового» мышления: «Но если русский делопроизводитель претендует на равенство с академиком Павловым, то он либо *«товарищ»*, либо клинический идиот». Но не все столь однозначно с ассоциативным полем слова «товарищ» даже у одного автора, который возвращается к этому культурно значимому слову в другом разделе:

*«Свой своему поневоле брат»*

«А все-таки хорошее слово – *«товарищ»*, теплое, союзное, намекающее даже на родство. По-своему жаль, что оно ушло из нашего оборота, особенно в связи с тем, что замены ему настоящей нет. *Господа?* Но какие мы, в сущности, *господа?*.. Мы подневольные *труженики, бедняки*, едва ли не призираемые всеми государственными институциями, от начальника жилищно-эксплуатационной конторы до министерства ужасных дел». Расширение ассоциативных связей слова товарищ, включение новых членов в текстовую парадигму также подсказано элементами заглавной поговорки («свой», «брат»), порожденной соборным сознанием. Архаичные наименования «барышня», «сударь», «кавалер», «милостивый государь» автор называет «словами-покойниками» и задается вопросом, что же все-таки объединяет этнос: «Ведь мы все *свои*, говоря по-русски, и даже сверх всякой меры, ибо у нас всеобщая *любовь к сорокаградусной и витанию в облаках*. Правда, в *России* «Кто любит попа, а кто попову дочку», «У кого щи жидкие, у кого жемчуг мелкий», но, с другой стороны, нас почти *кровно роднят прекрасный язык и прекрасная литература*, которые в российских пределах материальны, как паровоз». В подтверждение этой особенности российской ментальности, отмеченной не только отечественными (Н.Д. Арутюнова, А.Д. Шмелев, Т.В. Булыгина и др.), но и зарубежными исследователями (А. Вежбицкая), автор приводит диалог М. Пришвина с солдатом-фронтовиком: «Ты за что воевал, солдат? – За родину. – А что есть твоя родина? – Это, – говорит солдат, – такая земля, где всякий встречный старичок – *отец*, а всякая встречная старушка – *мать*». Так на основе интертекстуальных включений, расширяющих текстовую парадигму обозначений лица при обращении к нему, словесная «виртуальная» реальность проливает свет на родственный культурный код как способ осмысления (ср.: родство, брат, отец, мать).

*«Грех воровать, да нельзя миновать»*

Это еще одна этическая формула, замыкающаяся на ключевом концепте христианской культуры «грех» и его подвиде «воровство». Ее «расшифровка» выводит на понимание культурной и исторической самобытности страны: «Ничего похожего на эту нашу поговорку в прочих *языцах* нет. Ну да ведь Россия такая оригинальная страна, что в ней все единственно и самобытно, как междометие «ё-мое». Это, наверное, оттого, что враждебные силы во время оно отрезали нас от источников европейской цивилизации. И мы шестьсот лет варились в своем соку. И как-то так сложилось, что у нас воровать зазорно, но можно, хотя свободно можно не воровать». Сказово-ироническая манера повествования обусловила соединение, казалось бы, несоединимого: семантических и грамматических архаизмов (языцах, во время оно), иронически-оценочной лексики, рефлексии по поводу уникальной междометной формы, прецедентных текстов (силы враждебные, ва-

ряться в собственном соку), ссылки на чужой паремиологический опыт, синтаксических фигур-перевертышей, книжной лексики (источники европейской цивилизации). Ср. еще: «Впрочем, России как *хозяйственному организму* такой *дуализм* не опасен, поскольку она сказочно богата, то есть настолько, что ее полторы тысячи лет *растаскивают кусочки* и никак не могут *растаскать до логического конца*. Интересно, что *интенсивность* этого *процесса* зависит не от *развития национального характера* и *характера государственной власти*, а *неведомо от чего*». В ассоциативное поле концепта «воровство» попадают не только приведенные номинации (растаскивать, богата, кусочки, процесс), но и другие (казнокрадствовать, приворовывать, распоясаться, стяжательство, воровать). Выстраивается динамический фрейм, серия пропозиций в описании этого, казалось бы, необъяснимого концепта (при какой власти и когда воровали, кто воровал, почему воровали «с редким постоянством»): «Так, при добродушном Алексее Михайловиче казнокрадствовали куда меньше, чем при тиране Петре Великом, при людоедах-большевиках только приворовывали и совсем распоясался народ в эпоху гражданских прав». Автор пытается объяснить исторически, почему «живучи в России, трудно не *воровать*»: «Как, например, не срубить пару берез в барском лесу, если барин им владеет на том основании, что его прапрадед угодил государыне как ходок?». . . Главная же причина видится в том, что исстари «работнику платят то крохи, то ничего»; «По-настоящему у нас даже председатель совета министров должен *красть направо*, потому что он за месяц зарабатывает столько, сколько американский полицейский за трудовень». Пополнение ассоциативного поля концепта, обозначенного в поговорке – заголовке раздела, связано с текстовой стратегией докопаться до корней этого пагубного явления и раскрыть их для читателя. К аргументам тезиса о неизбежности воровства в России «плюсуются» особенности соборного сознания, «древние» коммунистические убеждения русского народа, который и «при крепостном праве настырно стоял на том, что *земля Божья, забор ничей*». Это убеждение лежит в основе отношения к любому виду собственности как к «объекту, который *плохо лежит*, даже если его положили относительно хорошо», а глагол «украсть» эвфемистически заменяется фразеологизмом «*прибрать к рукам*», и это действие воспринимается в русской ментальности как «законное дело, что-то вроде тринадцатой зарплаты или премии за беду». Резюме автора, его концепция по поводу особенностей российской этики сводится к следующему: «То есть *воровать*, конечно, *грех*, но вот что нужно принять в расчет: переведи романо-германца на положение нашего колхозника, и он за неделю *растащит* помещение сельсовета на кирпичи. Следовательно, мы хотя и *виноваты*, но перед Богом за нашу вину будут отвечать владыки России, от Владимира Мономаха до преемников Ильича. Как же иначе, если они показали себя неспособными поддерживать национальную государственность помимо того, чтобы русак существовал на одном хлебе и без штанов». Не случайно по отношению к обычному «русaku» слово «грех» заменено этически более мягким «вина».

*«Кто прямо ездит, дома не ночует»*

По мнению автора, «иная *пословица* больше наука, чем, например, марксизм-ленинизм, которым нас давили семьдесят с лишним лет, а названная поговорка заставила бы вождя внести крутую коррективу в свою *науку о мятежах*».

Здесь, по существу, ставится вопрос о тесной связи обыденного и научного знания, разрыв которых рождает лженауку, саркастически названную «наукой о мятежах», непонимание того, что «по-настоящему коммунист – это оголтелый капиталист», что утверждение коммунистического устройства, если оно возможно, может быть только следствием «эволюции общества и человека; а не вооруженного восстания в центре и на местах. Потому что это не коммунизм – утопия,

а человек – сволочь». Революция концептуализируется в терминах медицинской метафоры как хирургическая операция на истории, подобная операции удаления мозжечка. Ее последствия – «серия процессов», «внутри – партийная резня, пайка вместо зарплаты, нефеодализм в деревне, беззаконие, террор, наконец, искусственная экономика, из которой логически вытекают бедность и дефицит», особенно при отсутствии «политической культуры, бытовой культуры и культуры промышленного труда». Так в серии номинаций, помещенных в однородный ряд и рисующих социальные последствия «прямых» путей, абсолютизации исторической цели, раскрывается обобщенный смысл пословицы в целом и ее ключевых слов. Дискредитация большевистской идеи идет по главному пункту: «не так бытие определяет сознание, как сознание – бытие». Поэтому «в тех землях... где... оголтелые капиталисты вчуже работают на коммунистическую идею, уже с полвека с полвека практикуется по крайней мере реальный социализм». В заключение раздела выносятся лингвистический комментарий автора, указание на необходимость лингвистического знания, отражающего когнитивный опыт народа: «Одним словом, те господа, от которых в той или иной степени зависит судьба нации, должны знать русские пословицы назубок».

*«С волками жить – по-волчьи выть»*

Пословица получает неожиданное осмысление, теряя свои негативные коннотации ввиду своеобразной авторской концепции человека вообще и «человека переходного» в частности: нормальная «человеческая психика умнее собственно человека, поскольку она освобождает нас от бессмысленного состязания с порядком вещей, который мы не в силах преодолеть». Неистребимым злом, коренным, изначальным представляется автору «человек нынешний, переходный не злодей и не праведник, но существо загадочно способное извратить любую социально-экономическую модель»; он «переходит в направлении человека вполне», хотя «прогресс человечности не имеет никакого отношения к научно-техническому прогрессу». В антропоморфном осмыслении «по-волчьи выть» означает *для человека «со здоровой психикой» «прилежно делать свое дело, как-то растить хлеб, строить дома, сочинять прозу, изобретать летательные аппараты, независимо от того, какие именно урки на текущий момент хозяйничают в стране», «наслаждаться счастьем собственного бытия», что оценивает как «наиважнейшее человеческое занятие». Таким образом, «по-волчьи выть» означает не состязаться с данным порядком вещей, «что, конечно, куда веселее, чем восемь часов подряд одну и ту же гайку завинчивать, но у сумасшедших вообще интересная, зажигательная жизнь». Идеологические клише тоталитарного новояза получают в авторском переосмыслении пословицы иное, альтернативное звучание, ориентируя адресата в ином ментальном пространстве: «Может быть, даже так: тот и есть *несгибаемый борец за светлое будущее человечества*, кто прилежно делает свое дело и умеет наслаждаться счастьем личного бытия». Жанр сравнительного комментария заставляет автора обратиться к афоризмам других народов и их прокомментировать: «Нечто, отчетливо перекликающееся с нашей пословицей, есть у индийцев; они говорят: «Не хлебнув горя, не станешь Буддой». Тоже ничего».*

*«Суженого конем не объедешь»*

Вопреки представлениям культурологов и лингвистов [Булыгина, Шмелев, 1997; Вежбицкая, 1996, 2001], определявших фатализм (ср. культурные концепты рок, судьба и т. п.) как особенность российской ментальности, автор видит в главной пословице «не фатализм, а скорее напротив – *стихийный материализм*. Русак как в воду глядит: коли ты уголовник по химии своей крови, то утонуть

тебе не дано». Универсальность смысла, заключенного в близкой по смыслу поговорке «человек предполагает, а бог располагает», подтверждается ссылкой на поговорки других народов, определяющие зависимость следствия от причин. Однако «нигде, кроме как в России, причины не бывают такими *затейливыми*, а следствие до того *не отвечает ожиданиям*, что кажется решительно не зависящим от причин».

Эта непредсказуемость российской судьбы иллюстрируется серией вопросно-ответных комплексов, передающих парадоксальность авторского мышления и неожиданность выстраиваемых в сатирическом рассуждении причинно-следственных связей: «Почему, спрашивается, у нас красавиц такая пропасть? Потому что должно же быть хоть что-нибудь прекрасное в стране, где хлеб не родит, автомобили не заводятся, центральное действующее лицо – вор. Или почему у нас первая литература в мире? А тоже, можно сказать, с горя, потому что русскому писателю триста лет не давали «оспаривать налоги», «мешать царям друг с другом воевать», и он вынужденно пристрастился к операциям на душе. Есть, впрочем, и вопросы, не подразумевающие ответа, например: почему дурнушки всегда удачно выходят замуж, а с красавицами долго, как правило, не живут?». Парадоксальности «следствия» соответствует и стратегия авторского использования языковых средств с полярным разбросом их эмотивно-оценочных коннотаций, интертекстуальными включениями, разной функционально-стилевой прикрепленностью. С парадоксальностью причин и следствий связывается неоднократно отмечаемое смирение русского человека как особенность национального характера: «То-то русский человек мудро смиряется перед лицом Провидения, ибо он твердо знает, чему бывать, того не миновать, тем более что у нас трудно предвидеть даже самый очевидный, казалось бы, результат. Причины-то ведь затейливые, и следствие представляется решительно не зависящим от причин». Сказанное распространяется и на парадоксы последнего времени, когда «в результате демократических преобразований» «бывшие кухонные мыслители» (неожиданная номинация инакомыслящих – Н.С.) оказались «в тридевятой, чужой стране» (элемент фольклорного сказа соединен с нейтральным текстовым синонимом – Н.С.): «Все-то тут не по-нашему, все не так, начиная от *вокабуляра* и кончая *сливками нации*». В числе последних по закону текстовой антонимии названы «не ученый, поэт, живописец», а «пройдоха, певичка и теннисист». Апеллируя к содержанию поговорки, ассоциатам ее ключевого слова «суженый/суженое» – Бог, Провидение и др. – к историческому опыту этноса, автор оптимистически вопрошает: «Однако Ивана Грозного мы пережили, и крепостное право пережили, и большевиков; может быть, и эту сволочь переживем?». Оценочное сниженное слово попадает в общее текстовое семантическое поле названий зла.

*«Сама себя раба бьет, коли не чисто жнет»*

Слово «жнет», как символ российского крестьянского труда, направляет и размышления писателя вокруг крестьянской темы, судеб деревни. Отсюда фольклорные номинации «селянин», «Микула Селянинович», который «ковырял свой надел до седьмого пота, а результаты были примерно одинаковые: «От колоса до колоса не слышать бабьего голоса». Одну из причин «рока», нависшего над нашим сельским хозяйством «со времен Рюрика», автор видит в чрезмерном уме русского мужика: «Вместо того, чтобы, ни о чем надолго не задумываясь, потеть восемнадцать часов в сутки, он, *родной*, поутру сядет на завалинку и скажет про себя: а ведь через шесть миллионов лет на месте наших угодий будет море, и при чем тут, собственно, рожь с овсом? То-то не найти в Европе более неопрятного существа, чем русский крестьянин, и более страшной институции, чем русская деревня, а все потому, что мужик наш чересчур умен». В подтверждение аргумента

приводится китайская поговорка: «Если детей нет, кровать в этом не виновата» с последующим авторским комментарием: «И точно: на Руси ежели *умен*, то по обыкновению *нищ* и *наг*». Исключение сделано лишь для репрессированного русского крестьянства, «которые были генетически приспособлены к сельскохозяйственному труду. Ну нету их, а до 1928 года они представляли собою государство в государстве и *даже не то чтобы совсем национального образца*».

*«Какая барыня не будь, все равно ее»*

В комментарии автор отмечает такую черту национального характера, как чувство собственного достоинства: «Это поразительно: откуда взялось такое прочное чувство собственного достоинства у народа, который с Бориса Годунова ходил в рабах... А помещика наш хлебопашец даже считал узурпатором и похитителем угодий, поскольку он от века стоял на том, что земля Божья, грибы ничьи». В состав номинаций узурпаторов – элементов ассоциативного поля, порождаемого ключевым в поговорке словом «барыня», входят не только Борис Годунов, помещик, но и вся «аристократия крови, наши рюриковичи, гедиминовичи, чингизиды, тем более «птенцы гнезда Петрова», которые вышли преимущественно из низов... И с царями этот народ запросто обращался». Приводится диалог императрицы Екатерины II с солдатом суворовского полка при его осмотре: «Вот, братцы, две тысячи верст я проделала, чтобы на вас посмотреть. Правофланговый первой роты отвечает на эту *декларацию*. – От *эфтакой матушки-царицы* чего только не приходится ожидать». «Узурпаторам», таким образом, (включая и матушку-царицу) противостоят «народ», ходивший «в рабах», «хлебопашец», Бог («земля Божья»), «солдат суворовского полка, правофланговый первой роты». Таким образом, истоки национального характера связываются с христианской идеей соборности, исключаяющей пиетет перед социальной стратификацией общества.

*«Соловья баснями не кормят»*

Ключевое слово «соловей», имеющее текстовыми синонимами «писатель», «сочинитель», «пишущая братия», «не совсем люди» (и их имена собственные), организует размышления автора о судьбе литературы и всякого художества, поскольку «мы-то – Россия, страна, конечно, дикая, однако – первая в мире по *линии художества и души*»; «у нас литература искони была *вторая религия*, курсистки, завидя *Блока*, в обморок падали, яснополянские гости поражались тому, что *Толстой* ест, и даже такой сравнительно скромный *сочинитель*, как *Максим Горький*, отбивался от поклонников костью»; «Изящная словесность», «литература, в которой все евангелическая недоговоренность и полумрак, ... в глазах человека есть преломленное отражение того, что составляет самую его суть. Именно *частицу божества*, которую мы носим в себе в отличие, скажем, от строителя-бобра, знающего толк в гидрологии, семьянина и едока». Книга, по автору, – «вечный намек на то, что человек *загадочней семьянина* и *едока*. Да еще сочиняют их *как бы не совсем люди*, если они способны из ничего сотворить, например, *Акакия Акакиевича Башмачкина*, в которого веришь больше, чем в закон сохранения энергии».

Судьба писателя вызывает сожаление автора, как и другие символы ушедшее культуры: «*писатель* донельзя обеднел, ... его *кормят баснями* про то, что высшее благо цивилизации составляет рынок, свобода слова вплоть до матерного и гегемония безвредного дурака. Но литературы все-таки жаль, как зимних балов под Рождество, сюртуков, цыганского хора Соколова, барышень в шелковых кофточках под горло, которые стесняются буквы «хер». Будущее изящной словесности, которое «в лучшем случае гадательно, в худшем случае – его нет», не исключает и возможности воцарения тысячелетнего нового средневековья, «только без

алхимии и Христа».

Такие далеко идущие ассоциации выстраиваются вокруг содержания пословицы в целом, формирующей и неожиданные текстовые ассоциативные поля составляющих их компонентов, ориентирующие читателя в моментном пространстве автора и готовящие ответную реакцию адресата как итог понимания текста.

*«Бог шельму метит»*

В ассоциативное поле ключевого слова пословицы «шельма» попадают номинации: человек, мерзавец, живодер (в противопоставлении «хорошему человеку»), ни богу свечка, ни черту кочерга, (в обозначении человека по преимуществу), злодей, 666-ое антихристово число, великий сатанист, революционер (Петр I, Робеспьер, Жан-Поль Марат), бомбист (Ленин, Сталин, Гитлер, Наполеон Бонапарт). В этом описании просматриваются последствия действия промысла божьего (комментарий к первому ключевому слову пословицы): «Есть только одно неопровержимое доказательство *Божьего бытия*: хорошего человека по лицу видно... Отсюда вопрос к *агностикам и атеистам*: если *Бога* нет, то кто же тогда *шельму метит*, остерегая нас, *простаков*, подавая знак. Отсюда же и такое замечание: ведь и у немцев есть пословица «Лицо выдает *негодяя*», однако и они дали маху в 1933 году, следовательно, не мы одни *идиоты*, которые манкируют *опытом праотцов*». Апелляция к этому опыту предполагает понимание смысла пословицы, помогающей обычному человеку (человеку между Богом и шельмой) не стать «простакон» и «идиотом», не «дать маху».

*«Худой мир лучше доброй ссоры»*

Интерпретация содержания этой пословицы приводит автора к неожиданной, нестандартной культурологической концепции, базирующейся, тем не менее, на исконных ценностях традиционной культуры. Он считает эту пословицу «гласом вопиющего в пустыне, хотя и у финнов есть точно такая же пословица, и китайцы говорят: «Мудрый здоровается первым», и вообще, кажется, все согласны, что с соседями лучше не воевать». Межкультурные сопоставления призваны подтвердить авторскую догадку, мнение о назначении культуры: «Культура есть явление асоциальное, то есть она сообщается исключительно с личностью человека, а всему обществу действует перпендикулярно и вопреки. По крайней мере, ясно, что человек лучше человечества, а личность выше общества, ибо с Ивановым всегда договоришься с глазу на глаз, а в составе маршевой роты Иванов – зверь». Парадоксальность концепции усиливается столкновением афористических дефиниций абстрактных понятий с предельной конкретизацией ситуации, доведением ее до абсурда, комического эффекта. Конечная цель культуры рассматривается как «дела десоциализации личности, чем успешно занимались Моисей, Спиноза и Лев Толстой», хотя «культура работает мучительно медленно, как, например, строятся светила и наша материя».

*«Свято место пусто не бывает»*

Переосмысление пословицы связано с привлечением сравнительного комментария и историко-культурной энциклопедической информации: «Китайцы говорят прямо: «В *святых местах* много *нечисти*». Русачок же *юлит*, как обычно, *литературничает*, но вообще первоначально эта пословица сложилась про наши монастыри». Таким образом, слово *пусто* в порядке эвфемистической замены шифрует inferнальную силу, проникающую в сакральные, святые места. В наши

дни к такой нечисти автором относится наиболее независимо от способы властвования *«зловредный подвид человека разумного, как холерик, неспособный к положительному труду... А зловредный холерик умеет только фигурировать и стяжать... То-то мы такие несчастные, то-то нам и при самовластье не живется, и демократия нам резко не по нутру»*. Носитель наиболее «зловредных», сатанинских качеств (сверхактивность, показуха, стяжательство, неспособность «а положительному труду», разрушительство) эвфемистически назван здесь по типу темперамента «холериком».

*«Что русскому здорово, то немцу смерть»*

Еще О. Мандельштам отмечал, что «чужелюбие» не относится к числу наших достоинств. Древнейшая оппозиция *свое/чужое*, лежащая в основе пословицы, получает неожиданную интерпретацию в лексической структуре раздела, ею озаглавленного, лежит в основе авторского комментария и оказывается связанной с такими концептами русской культуры и языка, как душа в ее противопоставлении телу.

Думается, что одна из причин ущербности этической отечественной установки, проявляющейся и в поговорке «знай наших», и в явлении шапкозакидательства, удали и чванства, кроется, с одной стороны, в осознании размера, размаха своей территории, огромной численности населения и величия истории, а с другой – в вековом рабстве, требующем психологического выхода хотя бы во вне.

Порицание этих установок сопровождается в тексте объяснением их живучести: «Кажется, больше ни у кого нет этой моды – *повеличаться перед другими народами* даже и в *пословице*, которая, по сути, есть сама *этика* и *бонтон*». В текстовой семантизации вскрывается и этическая основа пословицы, и ироническое отношение к утверждаемым ею нормам (ср. иронию в словах «мода, бонтон, повеличаться»). Аналогии усматриваются только в пословице древних римлян, содержащей выпад в адрес своих «соседей-греков», «а так трудно себе представить, чтобы *англичане* выдумали *уничтожительную пословицу про французов*, а *французы* в своих *пословицах чванились бы перед англичанами* здоровым климатом и тонким пониманием красоты. Причем у англичан-то с французами есть основания *повеличаться*, а у нас оснований, пожалуй, нет». Эти лингвокультурологические сентенции сопровождаются саркастическим комментарием (ср. фигуру противопоставления своих и чужих), передающим боль автора за судьбы своего этноса, к которому он относит и себя: «Есть такая *догадка* (лексический сигнал не столько знания, сколько иной когнитивной структуры – мнения – Н. С.): причуды русского способа бытия происходят от того, что у нас все не так, как у *добрых людей*, за исключением физиологического строения тела и головы». Отсюда повторы местоимений первого лица, противопоставление *мы/добрые люди*, нагнетание определенно-личных конструкций, сдвоенных экспрессивных номинаций, смешение разностильной лексики, привлечение эмотивно-оценочных номинаций как сквозная тактика иронической передачи авторского мнения, не претендующего на особую достоверность и требующего встречной активности адресата, его вклада в процессы концептуализации мира: «В бане мы паримся *до обморока*, потому что у нас лекарств нет и восемь месяцев в году стоят *марсианские холода*. В прорубях купаемся в связи с тем, что библиотека сгорела, *кинчик* заболел, электричество отключили и телевизор безмолвствует, как *усоп*. Наконец, пьем мы *безобразно* оттого, что почти в каждом *русском человеке* живет *душа*. А это *не шутка*, душа-то, особенно когда она *не полагается*, а *живет*. Это совсем не шутка, если душа-то – не то, что у *прочих положительных народов*, – просто *антоним телу*, а такой *выматывающий агрегат*, что в другой раз с утра *приадумаешься-приадумаешься* и к обеду *уйдешь в запой*». Душа как «феномен человеческой цивилизации», будучи

не очень распространенным, объясняет, с точки зрения автора, всю бесхозяйственность, расхлябанность российской жизни: «А то беда: когда душа действует, дороги сами собой приходят в негодность, начинаются перебои с подачей электроэнергии, спички перестают зажигаться и с запасных путей исчезают товарные поезда».

*«Какие сани, такие и сами»*

Рассмотренная выше «этическая формула» получает здесь у автора расширенное истолкование в свете содержания заглавной поговорки, исключая «предрассудок, будто бы русский народ заслуживает лучшей участи, нежели которая ему выпала случайно ли, в силу исторического детерминизма или по произволу верховных сил. Эта «судьба» (еще один базовый концепт культуры – Н.С.) представляется автору вполне заслуженной, «судя по тому, что представляет собой русак как личность и гражданин». Здесь не только определяются ипостаси «русака», но он подводится под родовое обозначение «существо» с окказиональным осмыслением определения к нему – «всемогущее (в том смысле, что он может копать, а может и не копать) и без меры богатое качественно (в том смысле, что в нем уживаются и радетель, и хищник, и страстотерпец, и прокурор)». Этот разброс социальных психологических ролей, широта «ролевого статуса» получают в тексте наглядную конкретизацию: «русачок в понедельник нарезает болты до седьмого пота, в среду пьяненький, в пятницу плачет над «историей дипломатии», в субботу смертным боем воспитывает жену». Далее в ироническом ключе писатель обосновывает порочность, бесперспективность таких психологических особенностей этноса, их иррациональность: «Отчасти такая разносторонность льстит национальному самосознанию, однако вот что нужно принять в расчет: чем богаче характер, тем больше в нем черт, взаимно отрицающих одна другую, и тем менее он приспособлен к деятельности вовне. То есть кпд у человека с таким характером приближается к математическому нулю. От него как раз бесполезного действия приходится ожидать».

Здесь техническая метафора в аргументации авторской мысли соседствует с сочетанием детерминологизованного значения, включающим антонимичное прилагательное (полезный – бесполезный). И эта сентенция подтверждается истолкованием мотивов народа при «устройстве» переворота 1917 года и ответов в ключе этой логики на вопрос «зачем»: «Да низачем, наверное, то есть затем, что он чувствителен, завистлив, легко возбудим, мечтателен, озлоблен, не признает частной собственности, что излюбленный его национальный герой – речной пират Стенька Разин и что в 988 году крестили его силком».

Такой социально-психологический портрет дикаря, язычника, человека иррационального, насильно обращенного в христианскую веру, опять ведет к несоответствию причины и следствия предпринимаемых им действий, к движению по кругу: «Именно низачем, ибо результат этого дела уж больно бессмысленный: от чего ушли, к тому и пришли – к эксплуатации труда капиталом, царству бюрократии и падающему рублю». Но «самой чудесной из наших черт» автору представляется та, что «при всех своих нетях русский человек способен сочинять поговорки, которые представляются куда более литературными, чем роман». Подобные «перлы» отмечаются у других народов мира, «однако наша поговорка – это само литературное вещество». И в этом опять загадка русского характера, не разрешаемая поговоркой: «Но тогда какие же мы в действительности сами – вот вопрос! – если, фигурально говоря, сани у нас никудышные, а вместе с тем в области этической формулы мы способны творить полные чудеса?».

*«Или грудь в крестах, или голова в кустах»*

Пословица отмечает максимализм как свойство российской ментальности, на что неоднократно указывалось в работах лингвокультурологического и когнитивного направления в лингвистике (А. Вежбицкая, В.Н. Телия, А.Д. Шмелев, В.В. Колесов и др.). В лексической структуре анализируемого текста она эксплицирована типом синтаксической конструкции и обращением к сравнительному комментарию паремиологии других народов: «У многих народов мира есть вариант на тему древней латинской пословицы: «Или Цезарь, или ничего». Но, кажется, одни русские *живут по-писаному*, то есть не признают Горациеву «золотую середину» и любят *крайности*, как никто». Текстовая семантизация авторского выражения «жить по-писаному» и сравнительный оборот пересоздают специфический смысл русской жизни и национальной ментальности. Эта особенность национального самосознания «наших» описывается через использование условно-следственных и разделительных конструкций с номинациями, содержащими семы интенсивности, эмотивности, образности: «Наши уж если пьют, то *до положения риз*, если воюют, *то до последнего человека*, если любят, то *до самозабвения*, если проигрываются, то *в прах*. Та же мода у нас наблюдается и по общественной линии: то мы существуем на положении *белых рабов*, и главное, органично существуем, то нам подавай *царство Божие на Земле*». Жизнь «по-писаному» обнаруживает себя в свойствах российских характеров, которые «бывают полярно противоположными и часто являют крайности почти *литературного естества*. У нас коли человек *мерзавец*, то уж он *всем мерзавцам мерзавец, фантастическая нелюдь*, какую не встретишь в чужих краях. Но если он хороший человек, то, по европейским меркам, почти *святой*. Коли он *вор*, то мать родную *обчистит при отягчающих обстоятельствах* (ср. выводные смыслы, вытекающие из необычного соединения слов – Н.С.), а если *интеллигент*, то *ему не ровня наследный принц*».

Помимо слов-интенсивов, пронизывающих всю лексическую структуру текста, в нем содержатся неожиданные ситуационно-синонимические сближения и антонимоподобные противопоставления (мерзавец, нелюдь – хороший человек, святой; вор – интеллигент, наследный принц). Все вместе они создают этическое, эмотивно-оценочное пространство текста, включающего с учетом разных его разделов такие виды оценок, как сенсорные (гедонистические и психологические ценности), сублимированные (эстетические и этические оценки) и рационалистические (утилитарные, нормативные и телеологические оценки), представленные в типологии Н.Д. Арутюновой [Арутюнова, 1984, 1988].

Объяснение причин описываемого психологического феномена – крайностей русской души – вызывает затруднение автора, но что для него «предельно ясно», так это то, что «эффективной экономики с *таковской* нацией не наладить и настоящего порядка не навести», не в этом ее предназначение: «Усредненный человек Запада, *не плохой и не хороший*, но *законопослушный и деловой, обеспечивает социально-экономический прогресс вплоть до культурного тупика*. Русские же, видимо, призваны *сохранять генофонд человека сложного, сотканного из противоречий*, и это даже нам не *миссия* такая, а *благодать*. Ибо еще из Гегеля нам известно, что единство и борьба противоположностей есть источник всякого бытия». Апология «сложного» человека в его противопоставлении «усредненному» строится с привлечением не только оценочных определений и, на первый взгляд, алогичных, а по-своему глубоко оправданных газетно-публицистических штампов, но и элементов философского и богословского дискурса, в шутливо-юмористической форме догадки, предположения вскрывающих парадоксальность и оригинальность авторского мировидения.

*«На то и щука в море, чтобы карась не дремал»*

Фрагмент в этой лексической структуре рисует наивную философию «нашего соотечественника», «тонко понимающего закономерности и логику бытия, близкие экзистенциализму: «целый огромный народ почти поголовно неграмотный, неотчетливо постигший то религиозное учение, которое он исповедует, тем не менее широко принял *философскую систему*, заключенную в *поговорку про щуку и карася*». Эти ключевые слова поговорки, проецируясь на социально-психологические различия людей, опровергают идею *«губительного равенства и мелочной государственной опеки»*, которые «до того доводят нацию, что каждый второй лопаты не держит и каждый третий неспособен себя кормить». Величие же нации видится в том, что на всякое «зачем» существует свое затем. Этот тезис доказывается серией вопросно-ответных комплексов, имитирующих живой диалог: *«Зачем бывают землетрясения, наводнения, моровые поветрия? Затем, чтобы каждый человек не слишком возносился над всесильной природой и в конце концов не сгубил самого себя. Зачем случаются революции? Затем, чтобы доказать нации, что они не способны решить ни одного коренного вопроса жизни. Зачем всякая жизнь заканчивается трагедией смерти? Затем, что вопреки умозаключению Льва Толстого именно вечная жизнь быстротечна и коротка. Короче говоря, зачем щука в море? – чтобы карась не дремал»*. Так с опорой на каркас причинно-следственных отношений, предполагаемых заглавной поговоркой, и ее обобщенно-целостное, сентенциальное значение, позволяющее не только наметить ситуацию – основу, но и повторить поговорку в итоговом высказывании в позиции концовки текста, выстраивается концепция по коренным проблема бытия – экологическим, политическим, философским (лексические экспликации – землетрясения, наводнения, моровые поветрия; революции, жизнь, смерть). В ее основе – обыденное знание о чрезвычайной подвижности и плодовитости карася, спасающегося от щуки.

*«Всякая сосна своему бору шумит»*

Отношения части-целого, задаваемые ключевыми словами поговорки и растительная метафорическая модель становятся той основой, на которой развивается текстовое ассоциативное поле, связанное с концепцией патриотизма. В него входят такие слова и обороты, как: *«всех собак вешать*, имея в виду наши отечественные порядки»; *«чисто русское занятие – ругательски ругать своих соотечественников и страну ... валять грязи властный аппарат, общественное устройство, народное хозяйство, национальные свечки и обычаи, а главное, человека родных кровей»*, *«выносить сор из избы»*; *«диссиденты»*. Единство этноса передается поговоркой, согласно которой у нас *«весь народ из одних ворот»*, то есть какого нашего соотечественника ни возьми, у каждого *изоцранный характер и резвый ум*. (Поговорка подвергается семантизации в соответствии со сквозной авторской интенцией – Н.С.). Ибо *презираючи страдать* или *страдаючи презирать* (это у нас почему-то всегда ходит парой) – дело настолько общенациональное, что стоит собраться вместе столяру и сантехнику, как тотчас *выноси святых»*. Далее эта тема развивается с привлечением «литературной и медицинской» метафорической модели: эта критика «будет прямая художественная проза – с завязкой-развязкой, легким томлением истерикой в кульминации, любовным томлением и слезой. Наверное, это и есть – любить свою родину по-русски, нервно, чуть ли не навзрыд, как в семьях любят больных детей». На этом фоне получает свое объяснение и сатирическое истолкование аномальности официального патриотизма и созвучной ему поговорки: *«Патриот в России потому аномалия, что он профессионально предан тому, что нельзя ни уважить, ни оправдать. Вообще у нас настоящий патриот тот, кто ни при каких условиях не променяет родину на Ривьеру, кто ей го-*

рячо симпатизирует не за что-то, а вопреки... А пословицу «*Всяк кулик свое болото хвалит*», видимо, выдумали немцы либо думцы социал-демократической ориентации и нетвердой национальности, но определенно не мыслитель и не русак».

*«Голый, что святой, беды не боится»*

Подчеркнутые субстантиваты замыкают на себе ассоциативное поле всего текста, распределяемое по двум направлениям: голый – вещи, несчастья вещественного происхождения, кошелек, карман, в долг, бьют, побьют, возведут пасквиль, могут посадить, спокоен, недвижимость, вилла на Ривьере, собирательство, собиратели, предпринимательство; святой – деятельность души, человек высшей организации, нормальный человек, изгой, кара, Господь, развиваться по Христу. В этом сопоставлении вырисовывается оптимистическая концепция будущего России: «... за малым исключением все наши несчастья имеют вещественное происхождение и редко когда связаны с деятельностью души. То у вас кошелек вытащат в кармане, то побьют мимоходом, то долг не отдадут, то возведут пасквиль на вашу мать. Однако человека высшей организации обидеть невозможно, и на пасквилянта он смотрит, как на птичку, которая наделала на пальто. В долг же у «голового» не возьмешь. Когда бьют, это, конечно, очень неприятно, но ведь и змеи нападают на человека, и бактерии, и слепни. Однако у «голых» недвижимости не водится и кошелек в их обиходе – разве что сувенир. Правда, еще могут посадить за понюх табаку, что у нас случается сплошь и рядом, однако надо принять в расчет: бывают такие государства и времена, когда нормальное положение нормального человека – изгой, и место ему в тюрьме.

Следовательно, для того, чтобы избежать несчастий вещественного происхождения, нужно избавиться от вещей... достаточно воспитать в себе имущественный иммунитет... и голый спокоен, ибо если и сгорит вилла на Ривьере, то, во всяком случае, не его... Конкретной кары за это собирательство (частную собственность – Н.С.) Господь не назначил, но по всему видно, что так просто оно человечеству не пройдет. В России, во всяком случае, собирателей уже регламентированно отстреливают среди бела дня, и предпринимательство у нас – такая же опасная профессия, как военный и космонавт. Из этого, в частности, следует, что наше отечество более, чем прочие, развивается по Христу».

Содержание пословицы и ее структура, как видим, служит основой для дальнейших интерпретаций идеи соборности, христианских ценностей.

### Литература

- Арутюнова Н.Д. Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики – 1982. М., 1984.
- Арутюнова Н.Д. Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира. М., 1997.
- Вежицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996.
- Вежицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001.
- Пьецух В. Сравнительные комментарии к пословицам русского народа // «Октябрь». 2002. № 8.